A watercolor illustration of a landscape. In the foreground, a path or road winds through a field. The middle ground shows a line of trees and bushes. The background is a soft, hazy sky. The overall color palette is dominated by warm, earthy tones like yellows, browns, and muted blues.

К. ПАУСТОВСКИЙ

**ЗОЛОТОЙ
ЛИНЬ**





К. ПАУСТОВСКИЙ

ЗОЛОТОЙ
ЛИНЬ

РАССКАЗЫ

Художники

МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВ, НАДЕЖДА СТРОГАНОВА



МОСКВА «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 1979

P2
П21

П $\frac{70802-270}{M105(03)79}$ 207-79 4803010102

© Издательство «Советская Россия», 1979 г., иллюстрации.



БАРСУЧИЙ НОС

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Так мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие

леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фыркание зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!



Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пяточок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец, показалась полосатая шкура.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал — барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос...

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и охлаждал свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.





КОТ-ВОРЮГА

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана, на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж среди бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики

качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но наконец кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбную голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.



Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными и нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный Горлачом.

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух.

Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.





ПОСЛЕДНИЙ ЧЕРТ

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — большевики извели их до последнего корня.

Но все же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом

году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить, лапти уродовать?

Деду не верили еще и потому, что он был чужак и неудачник. Звали деда «Десять процентов». Кличка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милоч, — объяснил однажды дед, — что во мне всего десять процентов прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят во двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну, слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем. Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя! Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рветь, она меня терзаеть! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчется, голосит, а она рветь, она меня терзаеть! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, — говорит, — Митрий, по медицинской видимости, осталось не более как десять процентов». Теперь так и перебиваюсь на эти проценты. Вот она какая, жизнь наша, милоч! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.

Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими

улицами — с лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково, скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хрястнуло. Вот какая получилась заверта!

— А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

— Ну, вроде птица, — сказал он нерешительно. — Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица не птица, пес его разберет.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно, — сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть, — ответил я, — хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

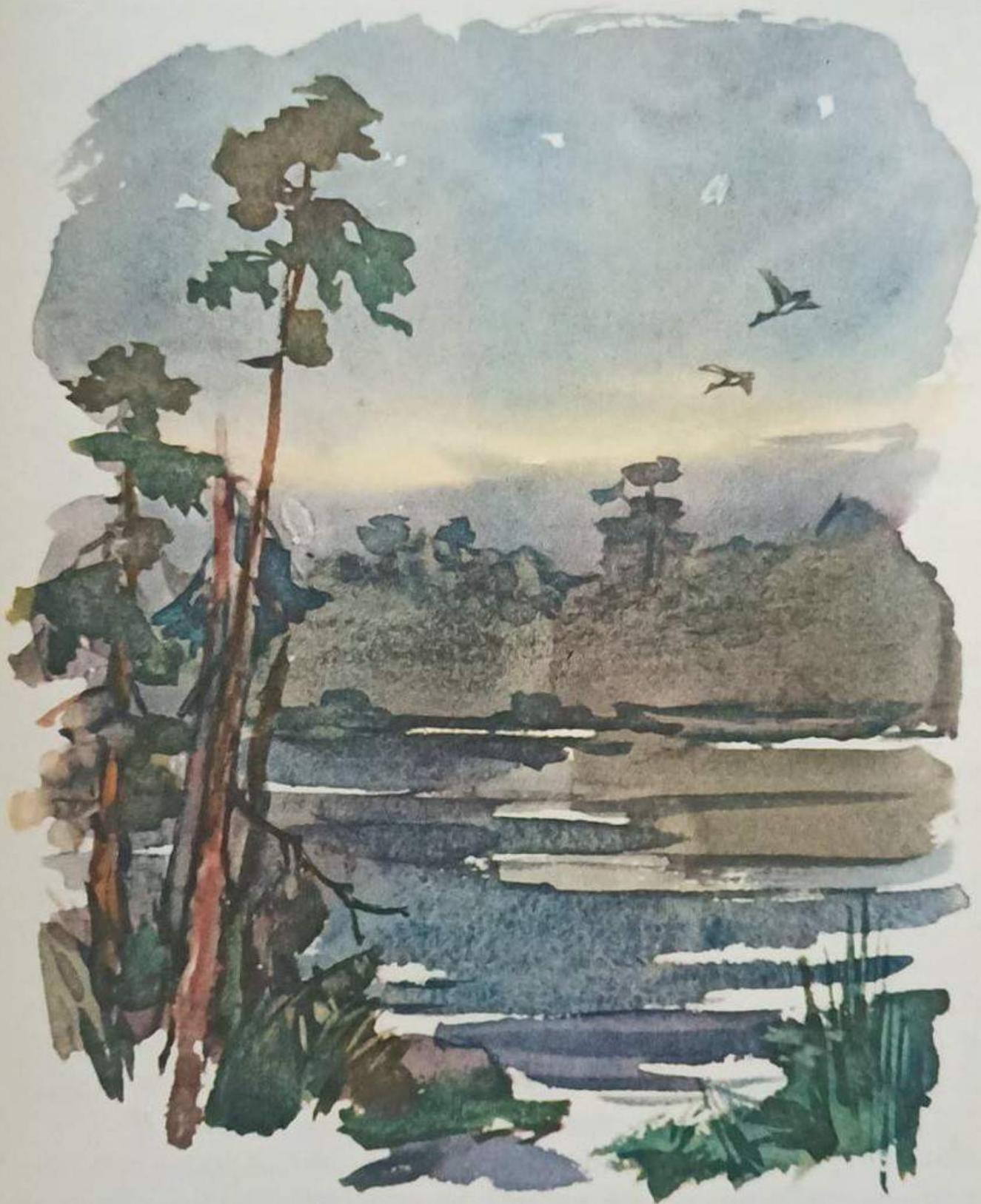
Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять процентов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудодня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

— А он ест что-нибудь, черт? — спрашивал, посмеиваясь, Рувим.



— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет,— говорил, сморкаясь, дед.— Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

— А он черный?

— Поглядишь — увидишь,— отвечал загадочно дед.— Каким прикинется, таким себя и покажет.

Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебирались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в коричневых мхах.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накален, казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто пахло гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.

Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен,— высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.

Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги — играла на закате рыба.

Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь.

— Ну, где же твой черт, Митрий? — спросил я.

— Тама, — дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. — Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, — погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман.

Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

— Ты чего, дед? — спросил я.

— Доходишься с вами до погибели! — пробормотал дед. — Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросенок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.

— Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк!

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилося в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:

— Уэк! Уэк!

— Спаси, владычица-троеручица! — бормотал, запинаясь, дед. — Слышь, как зубами кляцает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима.

— Ну, — сказал дед, — действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю! Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

— Иди стреляй, — бормотал он сердито. — Совецко правительство тоже за это по головке не побалуует. Нешто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!

— Уэк! — отчаянно кричал черт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, взгляделся в озеро и медленно потянул ружье.

— Что видно? — шепотом спросил Рувим.

— Странно. Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, — она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову, величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

— Пеликан! — крикнул Рувим.

— Уэк! — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете — в нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом:

«Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с мешком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец за приличное вознаграждение».



— Ну,— спросил я,— что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.

— Дед сообщит в зверинец,— ответил Рувим.— И, кстати, заработает.

Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.

— Вот он, твой леший,— сказал Рувим.— Гляди!

И-и-и, милай...— Дед захихикал.— Да разве я что говорю! Ясное дело — не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притоптывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос.

От костра полетели угли и искры.

— Чего это он? — испугался дед.— Чумовой, что ли?

— Рыбы просит,— объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топтать ногой — клянчить рыбу.

— Пошел, пошел! — ворчал на него дед.— Бог подаст. Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам

вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк». Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.

— Порты у меня — первый сорт, — говорил он и оттягивал штанину. — Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дураломную птицу. Вот она какая, жизнь наша, милоч!





РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку. Купили мы ее еще зимой в Москве, но с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканьем; то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, и Рувим,

спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте, около Чертова моста.

Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на черепаху.

Белый мохнатый щенок с черными ушами — Мурзик — лаял на нее с берега и рыл задними лапами песок. Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше, чем на час. Коровы на лугу подняли головы, и все, как по команде, перестали жевать.

Бабы шли через Чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас:

— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутится!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик.

Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса, и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей, к морде прилипали листья и куриный пух, — и нашему мальчику приходилось отмывать Мурзика теплой водой.

Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку.

Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на черного кота Степана, на самовар, примус и на ходики.

Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что

не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:

— Отвяжись, а то как тебя двину!..

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза. Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унижить этого дурака, но Мурзик не унимался.

Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили.

Так он сгрыз книжку стихов Веры Инбер, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза — я купил его случайно за три рубля.

Наконец Мурзик добрался и до резиновой лодки.

Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.

Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было сжевать, — резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускавший воздух.

Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.

Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться.

Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь.

Густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка



еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах.

Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а черный кот промчался тяжелым галопом через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух.

После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлепал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора. Нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился.

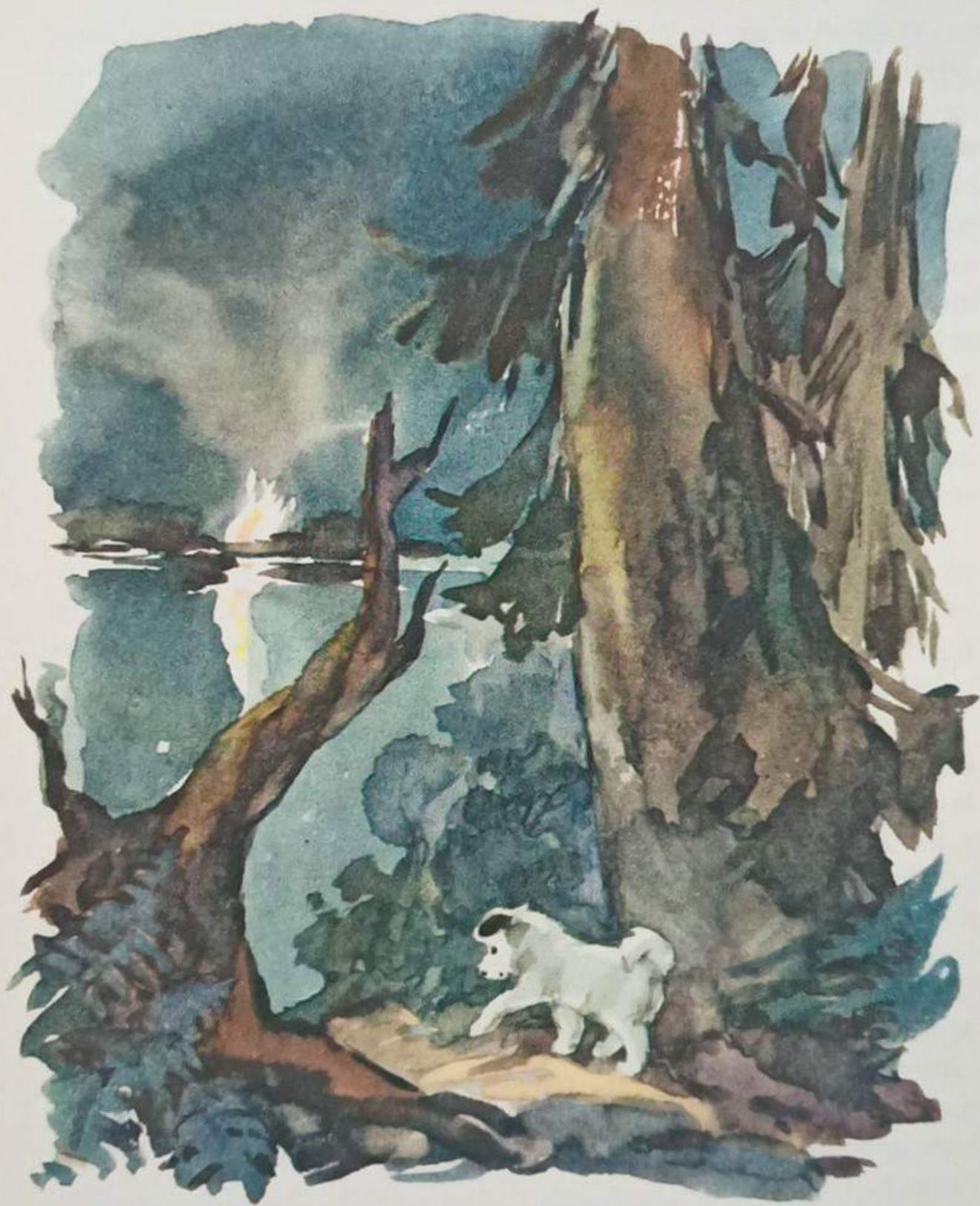
На Глухом озере мы пробыли четыре дня.

На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки.

Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду.

Он визжал от радости, но не забывал извиняться — все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины — мы звали ее «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.



Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.

Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то на самом краю земли слышался дрожащий вой волка.

Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безыменном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинуюсь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым.

Когда мы возвращались с Глухого озера, мы посадили Мурзика в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса поглядывая на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку.

После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды кот Степан залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскаленную сковородку с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал. А Мурзика мы перед отъездом в Москву подарили нашему приятелю — Ване Малявину, внуку лесника с Урженского озера. Мурзик был деревенской собакой, и в Москве среди асфальта и грохота ему было бы трудно жить.





ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву. Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом. Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не будет.

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. — Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы нас изводили все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошенные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед по прозвищу «Десять процентов».

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

— Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась, — шут ее знает, какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

— Ишь, стрекочет, — пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот

дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед. — Надо думать, к вечеру ха-ароший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. — Лягва, милочек, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», а он говорит: «Черта ли мне в этой лягве! Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?

— Скусная пицца, — ответил дед, прищурился, подумал. — Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я сплел, милочек, из лыка цельную тройку — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет стольких самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо смаывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.



Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень,— ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило ее не могло пробить.

Перед грозой рыба переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на перьяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе. Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте все и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне



на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл,— так клюет только очень крупная рыба...

Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит,— сказал я.— Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линия. Он тяжело свисал у него с плеча. С линия капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линия, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце.

Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линия через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять процентов» пощелкал линия по золотым твердым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подождут! А то у них все хаханьки да хиханьки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы нам ласково кричали:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость!





ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами...

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайте, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умереть.

— Не умереть, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке своему, ежели большая у него охота зайца выходить, пуцай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песочной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел. Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховой вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш — специалист по детским болезням — уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь, — Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрались до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полями уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар, — сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц, — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями, — волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зай-

ца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький городок, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

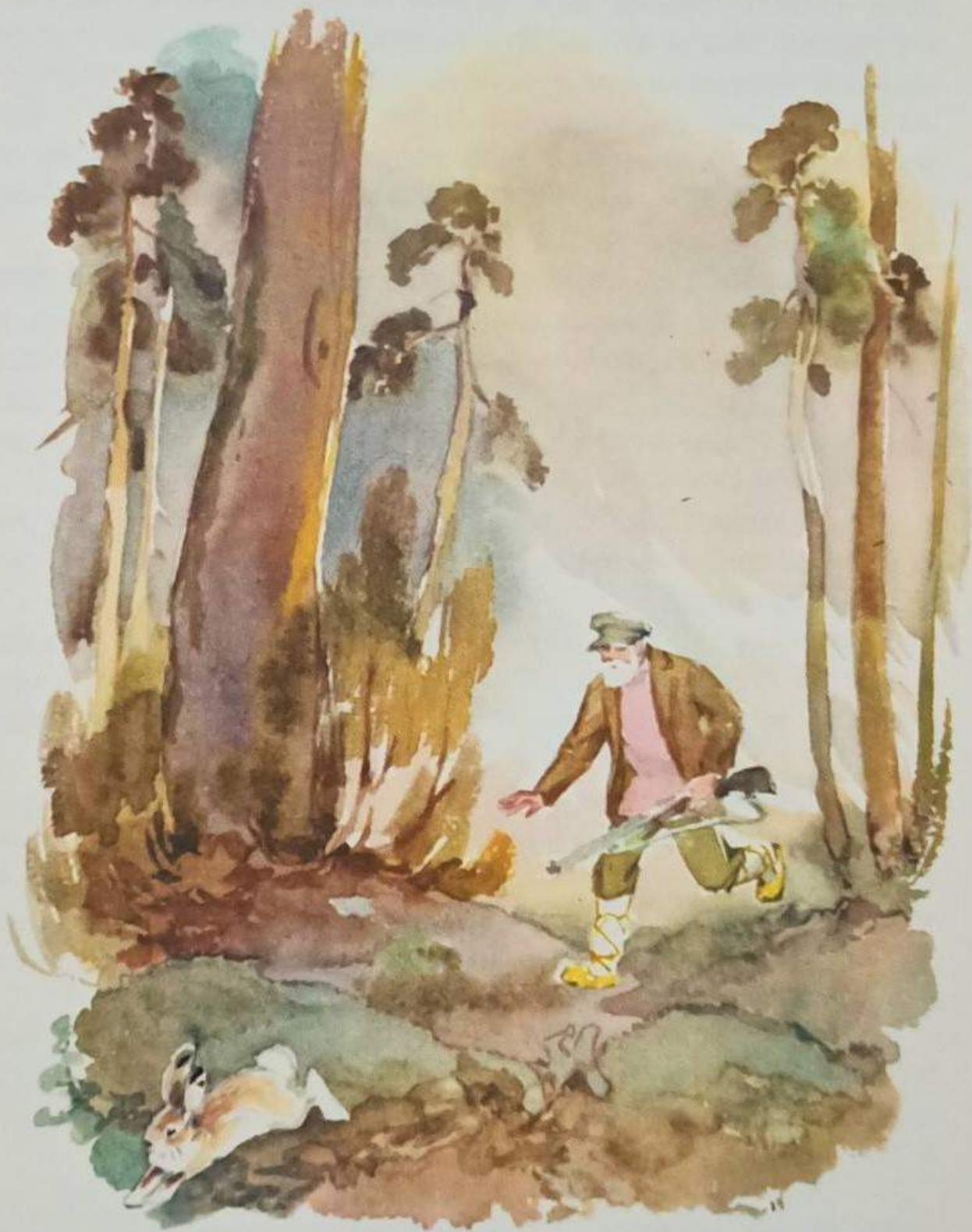
«Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь Ларион Малявин».

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крикали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне наконец историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера.



Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав, во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чувствуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости. Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал.

Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.





СТАРЫЙ ЧЕЛН

Поезд остановился. Стало слышно, как гудит шмель, запутавшийся в оконной занавеске.

— Какая станция? — спросил из купе сонный голос.

— Стоим в пути, — ответил проводник.

Он торопливо шел через вагон и вытирал паклей руки.

Наташа высунулась из окна. От высокой насыпи до самого горизонта тянулся лес. Над ним, закрывая половину неба, стояла глухая туча. Стаи белых птиц метались перед ней, как хлопья одуванчика.

Гром громыхнул за краем земли и неуклюже покатился над лесом. Гром ворчал так долго, что казалось, он обегает кругом всю огромную землю. Он затихал, когда запуты-

вался в чаще, но, выбравшись на просеки и поляны, гремел еще угрюмее, чем раньше.

— Какая гроза! — сказал кто-то за спиной у Наташи.

Она оглянулась: в дверях купе стоял ее попутчик — молодой режиссер.

— Какая гроза! Как здорово сделано! — повторил он, всматриваясь в грозное небо с таким видом, будто оно было театральной постановкой. — Вы не знаете, что это за птицы?

— Не знаю, — ответила Наташа.

— Это дикие голуби, — сказал пожилой лесничий в роговых очках и улыбнулся Наташе. — Как же вы не знаете? А еще десятиклассница!

— Я горожанка, — ответила Наташа и смутилась.

Поезд вздрогнул и пополз назад. Сразу стемнело.

Внезапно ветер рванул занавески и опрокинул стакан с цветами на столике. На пол звонко полилась желтая вода.

Вдоль окон блеснула молния, и тотчас в лесу что-то страшно и сухо треснуло, будто сломалась большая сосна.

— Что случилось? — спросила плачущим голосом сухая маленькая женщина в лиловой пижаме. Ее щебечущая красота исчезла с первым же раскатом грома.

Пассажиры торопливо подымали окна, смотрели на тучу. Молнии открывали в ней зловещие пещеры, воронки вихрей, мутные космы дождя. Огромные матерки из черного пепла и седой золы валялись на землю. В страшной черноте все вспыхивала и вспыхивала в блеске молний одна и та же белая сухая береза. Было непонятно, почему этот беглый свет вырывает из темноты только эту березу, когда вокруг нее шумят под ветром тысячи других деревьев.

— Проводник, что же, наконец, случилось? — крикнула женщина в лиловой пижаме. — Почему мы идем назад?

— Путь впереди размыло, — угрюмо ответил проводник. — Видите, какая гроза! Подают на Синезерки. Там будем стоять, пока не починят.

— Безобразие! — сказала маленькая женщина, испуганно зажмурила глаза и захлопнула дверь купе.

Мертвый лес вздрогнул от мутного блеска и оказался живым: ветки, похожие на черные рваные рукава, дрожали от ветра и были вытянуты в одну сторону — к последнему просвету под низким пологом туч. Деревья будто цеплялись за уходящее чистое небо и звали на помощь.

По крыше вагона тяжело зашумел проливной дождь.

— Молнии стремителен бег, и разит она тяжким ударом, — неожиданно сказал лесничий.

Режиссер усмехнулся одними глазами.

— Откуда это? — спросила Наташа.

— Из Лукреция, — ответил лесничий и покраснел.

По всему было видно, что лесничий и счастлив и смущен. Он был счастлив потому, что ехал в отпуск в Крым, где не был с детства. В памяти остались обрывистые мысы, заросшие колючками, и плывущий к их подножью откуда-то, из страшной дали, плеск воды.

Смущали его попутчики. Смущали их подчеркнутая вежливость с ним, пижамы, разговоры о курортной жизни. Они вели их друг с другом, никогда не обращаясь к нему. Когда они небрежно говорили о гостиницах, портье и «линкольнах», он чувствовал, что это — люди совсем другой жизни и до него, лесничего, надевшего в дорогу новый серый костюм, им нет никакого дела. Они были проницательны, эти попутчики, и, казалось, знали, что костюм у него единственный и сшит посредственным портным из Костромы. Он берег его и завидовал режиссеру. Развалясь на диване, засунув бледные руки в карманы тон-

чайших брюк, режиссер курил папиросы «Элит» и ничуть не заботился о том, что его расстегнутый пиджак мнется, а табачный пепел осыпает завязанный вольным узлом ослепительный галстук.

Единственным попутчиком, не смущавшим лесничего, была Наташа — застенчивая худенькая девушка. У нее все время от ветра из окон растрепывались волосы и по несколько раз в день попадали в глаза песчинки.

Однажды лесничий помог ей вынуть песчинку из глаза, но тоже смутился, когда Наташа протянула ему для этого прозрачный, слабо надушенный носовой платок.

«Лесовик, — подумал о себе лесничий. — Чертов провинциал».

— Какое славное название — Синезерки, — пробормотал режиссер. — Синезерки! Синезерки! Синие озера! Это надо запомнить.

— Здесь много озер, в этих лесах, — сказал лесничий.

— А вы знаете эти места?

— Да так... немного... Лет пятнадцать назад я здесь работал: сажал лес.

— А-а, это интересно, — протянул режиссер, но по его лицу лесничий понял, что это никому не интересно. — Нам чертовски не везет. Что стоило грозе разразиться здесь не сегодня, а завтра?!

— Да, действительно, досадно, — согласился лесничий.

Он думал, что вот уже давно собирается съездить в Синезерки, на старые места, но все никак не соберется. Вот и теперь поезд простоит в Синезерках час, два, пока не починят путь, и, кроме знакомой пустынной станции, где по платформе бродят занятые своим делом куры, он ничего не увидит.

— Да, жаль! — вздохнул лесничий.

Наташа тоже волновалась. В Крыму она еще не была, и он казался ей синим, туманным, пахнущим гвоздикой. Хотелось поскорее увидеть море. Говорили, что оно открывается неожиданно и похоже на высокую тучу.

В Синезерках было безлюдно. В окне у дежурного горела керосиновая лампа, и трудно было понять, наступил ли уже вечер, или темнота пришла от дождя.

Дождь стих. Из леса пахло сырыми опилками.

Дед Василий перетряхивал в телеге мокрое сено и поглядывал на поезд: «Куда это только шастают люди взад-вперед, взад-вперед?!»

Лошаденка его засунула голову по самые уши в торбу с овсом, торопливо жевала и прислушивалась к бормотанию деда, ждала привычного окрика: «Н-но, дьявол! Заелся на казенных харчах!» После такого окрика оставалось только тяжело вздохнуть и понуро тащить телегу по песчаной дороге обратно на озеро.

Но дед Василий неожиданно бросил вожжи и заторопился к поезду. Он подошел к освещенному окну мягкого вагона и постучал кнутовищем в стекло.

— Петр Матвев! — крикнул он слабым, срывающимся голосом. — А Петр Матвев!

За окном в коридоре стоял лесничий и разговаривал с Наташей. Лесничий всмотрелся в старика и открыл окно.

— Не признаешь? — спросил дед и тонко рассмеялся. — А я тебя признал издаля, от телеги. Как привел бог встретиться, скажи на милость!

— Василий! — крикнул лесничий, быстро вышел на площадку, соскочил на песок и обнял старика. — Живешь?

— Живу, — ответил дед, утирая рукавом лицо. — Живу, стараюсь. Смерть около топчется, а в сторожку ко мне



ей зайти невдомек. Забыл ты нас, Петр Матвев, истинное слово, забыл! А без тебя жизнь наша, прямо скажу, никудышняя.

— Чего так? Что у вас неладного?

— Будто ты и не знаешь? — недоверчиво спросил дед. — Будто газет сроду не читал, Петр Матвев?

— А что? Ты говори, не оглядывайся.

— Мне оглядываться не на кого. В нашей-то районной газете сколько раз печатали, — сказал со вздохом дед. — Печатали, печатали, а на поверку выходит — зря старались. Оно и видать — одной письменностью дела не сдвнешь, лес не оборонишь.

— Да ты о чем? — спросил лесничий. — Ты не крути, ты говори прямо.

Дед снял шапку и бросил ее на черный от нефти песок.

— Эх, Петр Матвев, Петр Матвев! Лес твой молодой приказал долго жить.

— Сгорел? — испуганно спросил лесничий.

— Зачем сгорел? Пожару у нас, храни бог, не было. А с этой весны ест его гусеница, ест как по наряду, и сейчас, почитай, уже половину съела, проклятая. Новый лесовод никак не управится. Все ему, видишь ли, ходу не дают, яду не дают, а он бумажки сюда пишет, туда пишет, и как ни придешь, одни у него слова: «Нет из области ответу». Так вот и сидим, порты протираем. «Нет ответу да нет ответу». А лес! — громко сказал дед и всхлипнул. — Лес мы с тобой, Петр Матвев, какой насадили! Сосна к сосне, как красавицы сестры! Ей-богу, верь не верь, а я как войду в него, шапку скину и стою, как беспамятный: до чего хорош лес!

Дед поднял шапку, осмотрел ее и нахлобучил на свалывшиеся седые волосы.

— Что же поделаешь, Василий? — сказал лесничий и

оглянулся. На ступеньках вагона стояла Наташа и, наморщив лоб, слушала жалобы деда.

— Когда отец детей кинет без помощи, — сказал горестно дед, — так совесть его корит, а к тому же и судят его народным судом. А дерево что? Дерево безгласное. Дерево кому будет жаловаться? Одному мне, дураку, лесному объездчику.

— Что же делать, Василий? — растерянно спросил лесничий.

— Опыление, — пробормотал дед, не слушая лесничего. — Нынче весной созрела пыльца, задул ветер — и понесло ее по-над озером золотым дымом. В жизни я такой пыльцы не видал.

Дед помолчал.

— Петр Матвев, — сказал он умоляюще и взял лесничего за рукав. — Уважь старика: поедем на озеро, поглядим. Ты мне только скажи, чем его спасти, лес-то, и поезжай себе с богом, а я как-нибудь сам управлюсь.

— Чудак! — сказал лесничий. — Да ведь поезд через два-три часа уйдет. Что ты в самом деле придумал!

— Не уйде-ет! — уверенно сказал дед. — Некуда ему идти. Путь на два километра размытый. Завтра в обед уйдет, не ране.

Лесничий снова оглянулся на Наташу. Она, все так же наморщив лоб, смотрела на деда.

— Пойдем к дежурному, — сказал решительно дед. — И ежели есть у него малейшая совесть, он тебе подтвердит. Ну, пойдем!

— Что мне с тобой делать! — рассердился лесничий. — Запутал ты меня своими разговорами.

— Поезжайте, Петр Матвеевич, — сказала неожиданно Наташа. — Успеете.

— Вы думаете, успею? — спросил лесничий, засмеялся и почувствовал внезапную свежесть на сердце. — Вы думаете, успею?

— А можно и мне поехать с вами? — спросила Наташа.

— Эх, барышня-красавица, товарищ дорогой, — сказал дед и низко поклонился Наташе. — Как же тебя не взять за твое верное слово? Поедем. Пока мы по лесу туда-сюда будем шастать, ты у озера поживи. Озеро у нас с серебряной водой, нету такого во всем Советском Союзе.

— Ну, пошли к дежурному! — сказал лесничий. — Запутал ты меня, старик, окончательно.

Дежурный сказал, что путь вряд ли починят раньше полудня.

Лесничий, дед и Наташа уехали на озеро. Отъезд этот вызвал среди пассажиров неодобрительное недоумение и обычные в таких случаях неопределенные возгласы: «Да что вы!», «Ну, знаете, не ожидал!»

Лошаденка тащила телегу не торопясь, помахивая ушами, — все равно ночью большого леса не увидишь и ничего не придумашь.

Колеса скрипели по заросшим травой темным дорогам. Тишина — она казалась Наташе глубокой, как ночная вода, — стояла в лесах. Только в сырых перелесках изредка кричали спросонок какие-то птицы.

К полуночи тучи ушли, и над вершинами сосен начало переливаться холодными огнями небо. Но Наташа не узнавала звезд: созвездия запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые очертания.

Лесной край, загадочный и огромный, как океан, простирался вокруг в сумраке ночи, в запахе прели и мокрой листвы, в остром воздухе никем не потревоженных чащ,

в непрерывном мерцании неба. Наташа говорила шепотом, да и дед и лесничий тоже говорили вполголоса.

— Сторонушка наша заповедная, — бормотал, вздыхая, дед. — Леса эти завалились до самого края земли. Нету их лучше на свете.

— Спи-спи! — крикнула где-то над головой проснувшаяся птица. — Спи-спи!

«Я и так сплю», — подумала Наташа и засмеялась от неожиданного счастья. Ей даже стало холодно от радости и захотелось, чтобы эта ночь тянулась без конца, чтобы без конца неторопливо постукивала по корням телега, чтобы все дремучей, разбойничей делался лес...

— Ну, кажись, приехали, — сказал дед.

Стало светлее. Наташа оглянулась и ничего не поняла: звездное небо лежало у самой дороги и тихо плескалось, набегая на невидимый берег.

— Озеро, — сказал лесничий. — Звезд столько в нем — будто осень!

Сипло залаяла собака. Телега остановилась около сторожки, под черными ивами. На насесте всполошились куры. Дед вошел в сторожку, зажег жестяную керосиновую лампу и осветил Наташе и лесничему.

Наташа вошла в избу. В ней сильно пахло печной золой, сухой мятой, теплом старого бревенчатого дома.

Наташа выпила молока и тотчас уснула на блестящей от старости широкой лавке. Дед подложил ей под голову новый армяк.

Проснулась она очень рано. Белое солнце стояло над лесом. В избе никого не было, только черный пес сидел под столом и, с изумлением поглядывая на Наташу, вычесывал блох.

— Как бы не опоздать! — спохватилась Наташа, вскочила и поправила волосы.

Ходики стояли, должно быть, давно: бутылка с водой, подвешенная вместо гири, заросла паутиной.

Наташа вышла в прохладные сени. Пес шел за ней и, заискивая, колотил хвостом по ведрам, по сваленным на полу хомутам.

Никого не было. Наташа открыла дверь на крыльцо и только вздохнула. Круглое светлое озеро стояло тут же рядом, за самым порогом, в едва приметном тумане. В озере отражались высокие леса. Вода у белого прибрежного песка была такая чистая, что казалась очень легкой, невесомой. В ней спали, чуть пошевеливая хвостами, маленькие серебряные рыбы.

На берег был вытащен серый от старости, разохшийся челн. Наташа выкупалась в озере, оделась и подошла к челну. На нем еще осталась скамейка. Наташа села на нее. Скамейка была теплая от солнца.

В щелях челна проросли высокие цветы и травы. У самых ног Наташи стройным кустом расцвел розовый кипрей. На носу, где челн был стянут ржавым железным стержнем, рос бессмертник, а сквозь песок на дне челна пробилась кукушкины слезы. Сильно и сладко пахло аиром и сосновыми стружками. Черный пес лег около челна и зевнул. Глубоко под землей кричали медведки.

«А как же поезд?» — подумала Наташа и удивилась: эта мысль не вызвала у нее никакой тревоги.

Так она просидела около часа. Она слышала, как на полянах за озером тихо переговаривались о чем-то своим журавли, потом отчаянно крякнула утка, — и снова все стихло.

Первым пришел дед. Он ласково поздоровался с Наташей, сел на песок около челна и сказал:

— Ты насчет поезда не опасайся. Дай вот я покурю,



запрягу Мальчика и свезу тебя на станцию. Поклонюсь тебе вслед; езжай, живи на теплых водах в городе Золотые Маковки, наживай счастье.

— А где же Петр Матвеевич?

Дед усмехнулся:

— Сейчас придет. Ему теперь все нипочем!

— А что такое? — испугалась Наташа.

— Расскажет, — ответил дед, выколачивая треснувшую трубку о борт челна. — Ты слушай. Челну этому сколько годов? Не менее, чем мне. Мы с ним одногодки. Смотри, как зарос всяким цветом, всякой травой. Вот это называется по-нашему дрема, — дед показал на кукушкины слезы. — Ты погляди на него, на цветок: днем дремлет, а как ночь — раскрывается, медом пахнет — и так до утра. Правду сказать, худой челн, свое отслужил. Лесовод намедни приезжал, смеялся. «Ты бы, — говорит, — Василий, на нем картошку сварил, чего зря дрова валяются». А я думаю: «Нет, картошку на нем варить срок не вышел, с этим делом погодить надо».

— Жалко? — спросила Наташа.

— Известно, жалко. Ведь ты подумай: истлел вконец, а годится для жизни.

— Как это? — спросила Наташа. — Я не понимаю.

— А чего тут понимать? — рассердился дед. — Челн этот — одна труха, а в каждом пазу цветок тянется. Так вот, я погляжу на него, да нет-нет и подумаю: «Может, и от меня, от старика, тоже для жизни какая-нибудь полезность случится». Вот и стараюсь. Ты седины не бойся. Главное, чтобы сердце у тебя было в исправности. Верное я слово сказал или нет?

— Верное, — ответила Наташа и засмеялась.

— Ну, то-то! Ты моему слову верь!

Подошел лесничий. Дед, кряхтя, встал и пошел запря-

гать Мальчика. Лесничий был суров, смущен. Он спросил Наташу, как она спала, выпила ли утром молока, и замолчал.

— Мы не опоздаем? — спросила Наташа.

— Да нет, не думаю, — ответил лесничий, покраснел и добавил, не глядя на Наташу: — Дело в том, что я не поеду.

Наташа изумленно молчала.

— Да, не поеду, — сказал, сердясь, лесничий. — Оказывается, тут такая история... Одним словом, без меня у них может ничего и не выйти. Пропадет лес. Сам сажал, знаете, жалко...

— Я-то понимаю, — сказала Наташа.

— В общем, мне здесь, признаться, будет лучше, чем в этом Крыму. Жаль только: пропала путевка. Ну да бог с ней! А к вам большая просьба: передайте мой чемодан деду, он привезет.

— Ну что ж, — сказала Наташа и вздохнула. — Мне даже завидно.

— Но-о, дьявол! — хрипло закричал около сторожки дед. — Заелся на казенных харчах!

— Ну что ж, прощайте! — сказала Наташа и робко пожала руку лесничему.

Поезд пронесся по плавному закруглению, и Наташа узнала: вот на этом месте его вчера застала гроза. Вагоны с лязгом пролетели над маленькой чистой рекой, и Наташа успела прочесть на доске около моста запыленную надпись: «Река Мошка».

Широкая радуга стояла над лесами: там где-то, за озером, шел небольшой дождь.

Радуга показалась Наташе входом в заповедные таинственные страны, где хозяйничают Петр Матвеевич и дед и кричат на рассветах журавли.

Далеко среди зарослей блеснула светлая вода. Неужели озеро? Наташа высунулась из окна и долго смотрела на блеск воды среди листвы, на радугу, и у нее сжалось сердце: если бы можно было остаться здесь до самой осени!

Паровоз прощально закричал, и леса начали перебрасывать его короткий крик, унесли в непролазные чащи и неожиданно вернули звонким, многоголосым эхом.





ЖИЛЬЦЫ СТАРОГО ДОМА

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы обшлюенной лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянулся

мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

— Ах, вот как!

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки разохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек-капустниц и точить ногти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и все сошло. Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом,



пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабеж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярился.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнату. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по несколько часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издали была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих



харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же, как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под ручкомойником. Раз в минуту ей капала на голову из ручкомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла

к себе, под сгнившее крыльцо, — на его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень веселые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были насто-роже и не позволяли себе никаких вольностей — не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке, и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен Севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шка-тулку. На крышке ее медными буквами была выложена

английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи и поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнется дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:



Прощай, звезда над милыми горами!
Прощай навек, мой теплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы
Ты возвратишься...

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить ее снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец — он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую

мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придется рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.





СИВЫЙ МЕРИН

На закате колхозных лошадей гнали через брод и луга в ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами.

Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных

в ночное лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.

Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день. Им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей — ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер — глубокой водой, а из деревни изредка доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и ржали.

Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась, синяя, заря.

Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле.

По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами.

Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстает ни на шаг. Как ни оглянись, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он. — Да ты глядел или

нет, чего она делала, эта ласточка? Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.

На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.

— Куда, дьявол! — в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу.

Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнул, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете!» Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер — задумался.

— Все-таки, — сказал Рувим, закуривая, — он, наверное, о чем-нибудь думает.

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хо-



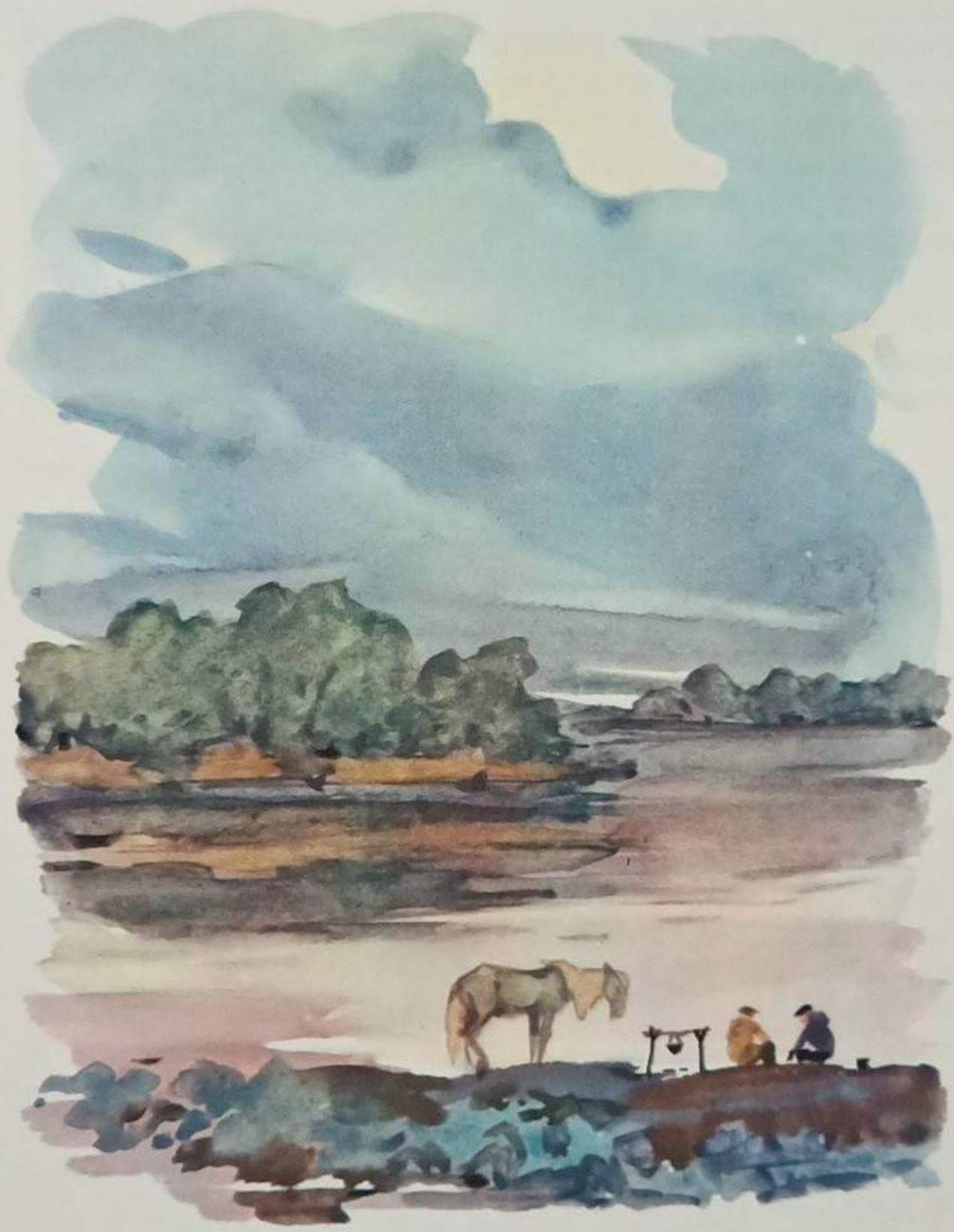
зьяйских хлебах!», «Овса ему захотелось — подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и тот же угрожающий окрик: «Но-но, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось — тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишьси-и, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу.

Благодарности не было. А он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы поднимался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но-о, идол, нет на тебя погибели!» И мерин, рванувшись, тащил телегу дальше.

Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось нежным розовым светом одинокое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с белых зонтичных цветов дягиля в темную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоуздом, перекинутым через плечо, колхозный



конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белокрысы красной армии. Мерин медленно пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам — покурить и побеседовать насчет клева.

— Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черти! Скоро обмахнуться от овода и то будет нечем.

— Старик свое отработал, — сказал я.

— Известно, отработал, — согласился Петя. — Старый, хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

— Подождешь, — сказал Петя. — Работы с тебя никто не спрашивает — ты и молчи.

— А что он, болен, что ли? — спросил Рувим.

— Да нет, не болен, — ответил Петя, — а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза — ну, знаете, этот сухорукий — хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так... Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей — дома отдыха, а для него что? Шиш! Так, значит, и выходит — всю жизнь запаривайся, а как пришла старость — так под нож. «Нет, — говорю, — Леонтий Кузьмич, не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, — говорю, — за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого мерина, пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется, — ему жить-то осталось всего ничего». Поглядите, даже морда у него и та кругом седая.

— Ну и что же председатель? — спросил Рувим.

— Согласился. «Только, — говорит, — я тебе для него

не дам ни полпуда овса. Это уже, — говорит, — похоже на расточительство». — «А мне, — говорю, — на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с меринком, когда меня нету. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать... Но-о, дьявол! — неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

— Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе в сарае, — сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. — Прощайте.

Он увел мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие лини. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал мерин.





ПОДАРОК

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетенные тома этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате — она всю зиму будет зеленая.

— Зачем ты ее выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава, — проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит как из мешка».

— Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывается в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые

пряди, как первая седина у еще нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты; в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.



Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

— Это закон,— сказал он.— Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять процентов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

— Ты, милочка,— сказал он Рувиму,— поживи с мое, тогда и спорь. А то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может,— ответил Рувим.

— Может, может! — передразнил его дед.— А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом.

Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул,— сказал Рувим.— С тобой не столкнешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно.— Сдаешься? Ты со мной не заводись,— бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.





ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под

стрехи, и вот уже больше недели как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отсветы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же, как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно — может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и наконец понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа. Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заморозила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

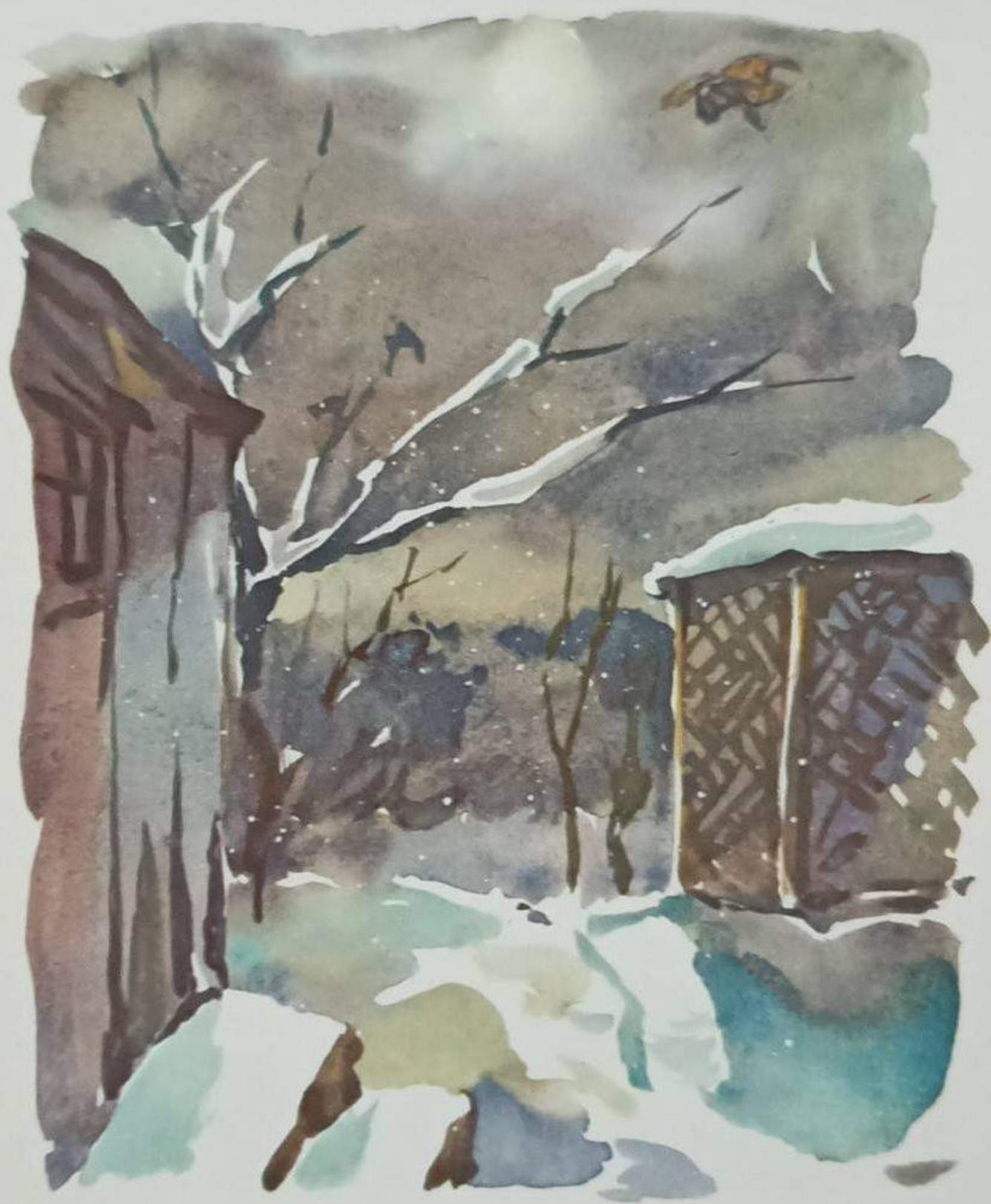
А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до



царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пуцала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов выросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали



птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и, наконец, пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето



СОДЕРЖАНИЕ

БАРСУЧИЙ НОС	3
КОТ-ВОРЮГА	8
ПОСЛЕДНИЙ ЧЕРТ	14
РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА	24
ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ	32
ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ	40
СТАРЫЙ ЧЕЛН	48
ЖИЛЬЦЫ СТАРОГО ДОМА	63
СИБЬИ МЕРИН	74
ПОДАРОК	82
ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ	88

Паустовский К. Г.

П21 Золотой линь: Рассказы / Худож. М. Алексеев
и Н. Строганова. — М.: Сов. Россия, 1979. — 96 с.

Книга рассказов Константина Паустовского проникнута большой любовью к русской земле, к родной русской природе.

Большинство рассказов, которые вошли в предлагаемый сборник, взяты из мещерского цикла «Летние дни».

Задушевность, поэтичность, тонкий лиризм, мягкий юмор, свойственные творчеству писателя, близки и дороги читателю, маленькому и большому.

П $\frac{70802-270}{M-105(03)79}$ 207—79 4803010102

P2

Для детей младшего школьного возраста

Константин Георгиевич Паустовский
ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ

Редактор М. ДОЛОТЦЕВА

Художественный редактор М. ТАИРОВА

Технический редактор В. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Корректор Т. НОВИКОВА

ИБ № 1471

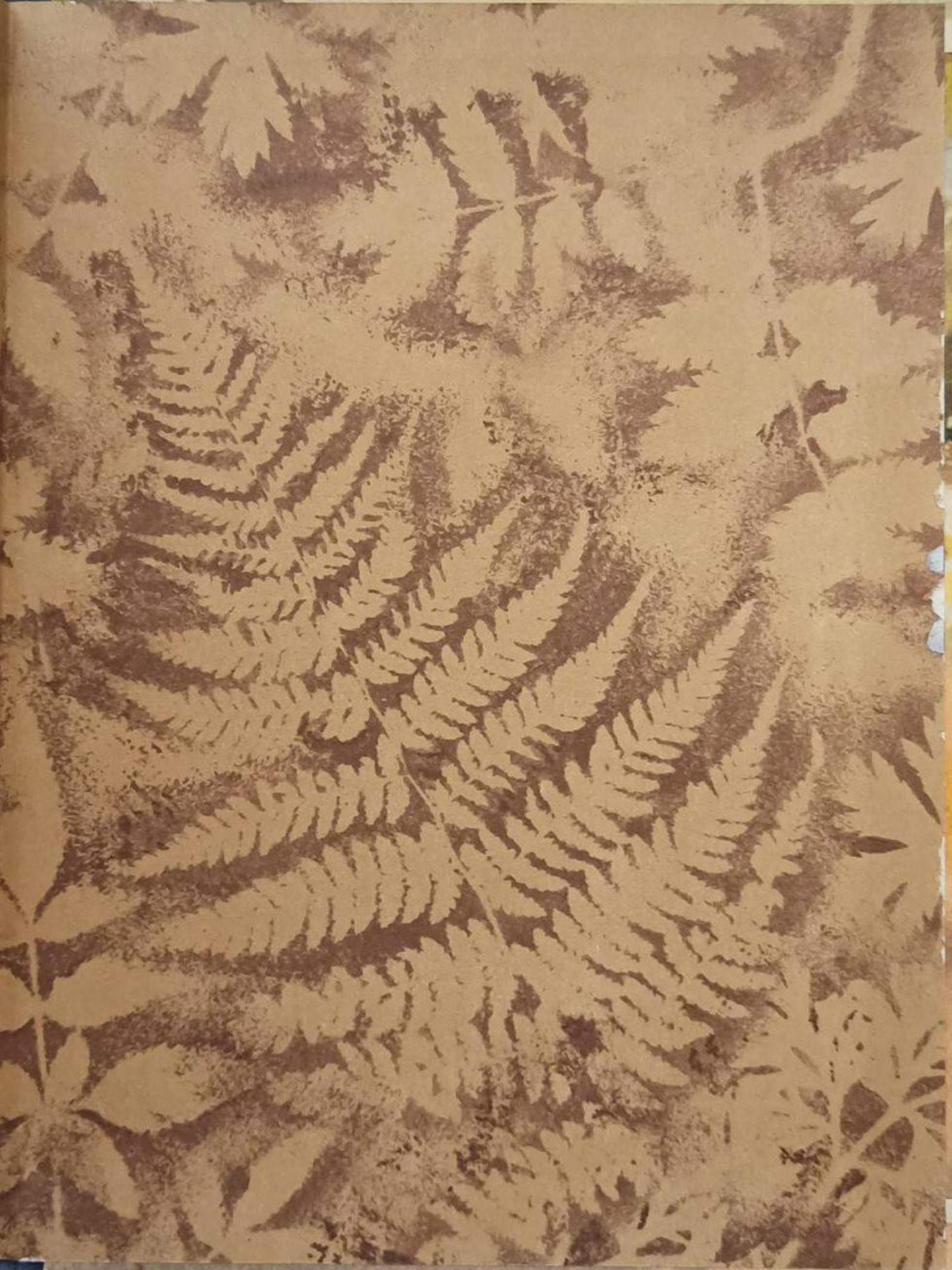
Сдано в набор 04.12.78. Подп. в печать 26.09.79. Формат 70×90/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 7,02. Уч.-изд. л. 4,69. Тираж 100 000 экз. Заказ № 698. Цена 50 к. Изд. инд. ЛД-196.

Издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 103012, Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.









· СОВЕТСКАЯ РОССИЯ ·